Древние империи
(Новые подходы к изучению древних империй Запада и Востока)

От редколлегии

Начиная с этого номера журнала на страницах «Вестника древней истории» будет публиковаться серия статей отечественных и зарубежных авторов, объединенных темой «Древние империи (Новые подходы к изучению древних империй Запада и Востока)».

В первую очередь будут напечатаны доклады (и написанные на их основе статьи), прочитанные на организованном Центром сравнительного изучения древних цивилизаций и «Вестником древней истории» Международном симпозиуме «Древние империи и имперские идеологии»[1]. Как показал этот представительный научный форум, интерес к вечной теме древних империй в настоящее время чрезвычайно высок, причем особенно популярны у современной научной общественности темы, связанные с имперской идеологией и культурой. Заметна также тенденция к решительному отказу от одномерного модернизаторского в своей основе подхода к исследованию империй через призму всесильного центра, навязывающего свои порядки, правила и нормы подчиненной периферии.

Вместе с тем, как хорошо видно уже по тем статьям, которые опубликованы в этом номере, определенное единство в отношении интересов и подходов вовсе не предполагает согласия в выводах и концепциях. Тематика, связанная с древними империями, остается остродискуссионной, и продвижение вперед порождает больше вопросов, чем ответов.

При обсуждении членами редколлегии тематики и перспектив посвященной древнейшим империям дискуссии выяснилось, что наибольший интерес вызывают две проблемы, которые и было решено предложить для дальнейшего обсуждения на страницах «Вестника древней истории» в качестве основных. Первая – роль традиционных форм жизни (политической, социальной, культурной, хозяйственной) и традиционной системы ценностей в древних империях; вторая – взаимодействие и взаимовлияние центра и периферии в древних империях. Эти процессы также предполагается рассмотреть в различных аспектах.

Вместе с тем очевидно, что в ходе дискуссии возможен и даже желателен выход за обозначенные заранее тематические рамки и появление новых подходов и новых тем.

Ряд ведущих зарубежных и отечественных специалистов по истории древнего мира выразил желание принять участие в дискуссии. Некоторые уже прислали статьи.

«Вестник древней истории» приглашает своих авторов последовать их примеру. Журнал заинтересован в получении научных статей, написанных на конкретном материале и отвечающих высоким требованиям, которые всегда предъявляются ко всем, кто присылает свои статьи в ВДИ.

Выражаем признательность Российскому гуманитарному научному фонду и банку «Империал» за помощь в проведении симпозиума и публикации его материалов.

© 1997 г.

МЕТАФИЗИКА ТЕСНОТЫ. РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ И ПРОБЛЕМА ОТЧУЖДЕНИЯ*

Со времен Соссюра мы знаем, что понять явление в его актуальной реальности можно точнее всего на основании его противоположности другому явлению, ему контрастному, – на основании их, как говорят лингвисты, «релевантной противоположности». Слово «писал» в современном русском языке представляет собой не причастие (каковым оно является по своей исторической морфологии), а прошедшее

---

[1]См. *Колосова О.Г., Смышляев А.Л.* Международный симпозиум «Древние империи и имперские идеологии» (Москва, 9–10 сентября 1996 г.) // ВДИ. 1997. № 2.

* Настоящая статья представляет собой запись доклада, прочитанного 10 сентября 1996 г. в Институте всеобщей истории РАН на Международном симпозиуме «Древние империи и имперские идеологии». Ограниченность аппарата примечаний и некоторая разговорность интонаций объясняются таким происхождением статьи.

время глагола, поскольку его релевантной противоположностью в языковом сознании русскоговорящего является не «пишущий», а «пишу» или «буду писать». Релевантной противоположностью слова-понятия «империя», если употреблять его как обозначение государственного строя, является слово-понятие «республика» (тоже если мы имеем в виду государственный строй). Оба понятия соотносятся и раскрывают свой смысл через противоположность друг другу. Она стала осознаваться уже в древнем Риме, начиная с той эпохи, когда обе государственные формы оказались сопоставлены в самой жизни. Цезарь утверждал, что «республика – ничто, пустое имя без тела и облика», причем контекст в источнике (Светоний. Божественный Юлий. 77) исключает возможность понять здесь слово «республика» не в государственно-правовом, а в староримском неформальном смысле как совокупность народных и государственных интересов. Так же обстоит дело и с язвительными словами Цезаря, приведенными в том же источнике: «не вернуть ли тебе и республику, Аквила, народный трибун?» (там же. 76). Дело было не только в словах. В январе 41 г. н.э. сразу после убийства Гая (Калигулы) сенат собрался с твердым намерением восстановить республику, но после нескольких часов заседания убедился, что это невозможно: республика навсегда отошла в прошлое, уступив место империи, пока что в ее начальной фазе – в виде принципата.

Сложность и противоречивость положения, однако, обнаружившаяся с самого начала научно-исторического исследования принципата в середине XIX столетия, состояла в том, что принципы и практика республики, с одной стороны, и принципы и практика империи, с другой, в условиях данного строя предстали не столько в своей противоположности, сколько в нерасчлененности и взаимоопосредованности. Факты, сюда относящиеся, широко известны. Императорская власть представляла собой совокупность республиканских магистратур, предоставляемых сенатом, и вне их не имела самостоятельной конституционно-правовой базы. Центуриатные комиции – одна из основ республиканского строя, были отменены в первый же период принципата, но как выяснилось, реально продолжали существовать по крайней мере до конца I в., и император, не утвержденный этим древним республиканским органом, мог быть сочтен узурпатором. Каждый строй имеет свою, соответствующую его сущности и целям, административную систему управления. Империя долго сохраняла республиканскую систему, перестраивала ее с большим трудом и окончательно выработала администрацию, себе адекватную, лишь века через полтора. Республикански-имперская двусмысленность государственного бытия столь же долго продолжала характеризовать и общественное самосознание. После падения самодержавного правления императора Нерона в пору Флавианско-Вителлианской смуты римляне неожиданно вспомнили самые архаические образцы республиканского поведения и создали народное ополчение для защиты города. При вступлении некоторых императоров на престол вплоть до II в. чеканились монеты с легендой «Восстановленная республика».

При этом, однако, чувство радикальной противоположности общества, в котором они живут сегодня, т.е. при империи I–II вв., обществу республиканской поры как безвозвратно ушедшему в прошлое, владело, по-видимому, римлянами повсеместно. Его хорошо выразил в январе 69 года император Гальба: «Если бы огромное тело государства могло устоять и сохранить равновесие без направляющей его руки единого правителя, я хотел бы быть достойным открыть путь республиканскому правлению. Однако, мы издавна уже вынуждены идти по другому пути» (Тацит. История. I. 16. 1).

На чем было основано ощущение контраста обеих общественных форм, если в административной, военно-политической, даже социально-психологической сфере было столь распространено убеждение в их взаимоопосредованности и как бы преемственной нераздельности? Есть основания утверждать, что ощущение контраста, жившее рядом с ощущением преемственности и взаимосвязи принципата и былой республики, во многом находит себе объяснение, наряду с другими факторами, в переживании

римским обществом соотношения обеих форм как мало отчужденного и сильно отчужденного типов исторической действительности.

Круг явлений, подтверждающих и иллюстрирующих указанную закономерность, весьма широк. Можно назвать следующие. – Почти полное исчезновение элемента клановой солидарности и взаимной выручки в клиентельных отношениях. Переход от армии, основанной на народном ополчении, к армии, основанной на профессиональных контингентах. Индивидуальные и массовые переселения, разрушавшие традиционную связь человека с его гражданской общиной, его чувство принадлежности к обжитому мирку, его укорененность в местных институтах и местной почве – все это было известно греко-римскому миру задолго до образования Римской империи, но именно при империи становится доминирующим процессом, окрашивающим жизнь общества в целом. Меняется характер социальных микромножеств, в которых реально всегда протекала жизнь римских граждан (да и граждан греческих полисов): на месте контактных групп, объединявших людей на основе личных отношений, появляются группы подчас огромного размера, исключавшего общие личные связи, а главное – группы эти теперь легализуются и в принципе существуют лишь с правительственной санкции. Появляется, ширится и в ряде случаев становится принципиальным уклонение от занятия официальных должностей в отдельных общинах и в государстве в целом: почетная должность – некогда предмет страстных стремлений и доказательство уважения граждан, теперь начинает восприниматься как обуза. Иным становится образ носителя власти; некогда это был гражданин общины, богатый, окруженный почетом, взысканный богами, которого, однако, можно было встретить на улицах города и с которым можно было поговорить, – фигура вполне реальная, соответственно реалистическими были его изображения в виде статуй или на рельефах. По мере укрепления принципата и эволюции его к империи эти изображения становятся условными, стилизованными под изображения бога, все более свободными от реалистических черт; власть не сосредоточена в гражданском коллективе, а как бы парит над ним.

Перечень такого рода явлений мог бы быть продолжен. Мы сосредоточимся на трех из них: на Цинциевом законе, на изменениях в семиотике одежды и обуви, на том, что сталось – по мере становления империи – с жизнью в римских домах, ранее столь тесной и скученной.

1. Цинциев закон

Закон, принятый на основе плебейского плебисцита по инициативе народного трибуна Марка Цинция Алимента в 204 г. до н.э., официально назывался Цинциевым законом о подарках и воздаяниях. Полный текст закона не сохранился, но основное содержание его явствует из 59-ти отрывков, дошедших до наших дней. В самом законе 204 года и в его дальнейшей судьбе как бы скрестились два магистральных процесса римской истории и римской культуры, связанные с феноменом отчуждения. Первый из этих процессов – разложение принципа клановой солидарности и взаимопомощи в социальных микрогруппах и вытеснение его практикой всякого рода поборов с членов таких микрогрупп, осуществляемой людьми, посторонними традиционной микрогрупповой структуре римского общества. Второй процесс – процесс превращения судебной защиты из почетной обязанности патрона микрогруппы по отношению к попавшему под суд ее члену в дело профессиональных адвокатов, нанимаемых каждым подсудимым и оплачиваемых им из своих средств; подобная эволюция сказалась определенным образом и на изменении характера римского судебного красноречия.

Второй из указанных смыслов того же закона выделен как основной и практически единственный в относительно поздних источниках, которые и сделали его столь популярным в исторической науке – в «Анналах» Тацита, в переписке Плиния Младшего, в описании принципата Августа у Диона Кассия. Между тем, рассмотрение

закона в историческом контексте, его породившем, и внимательное знакомство с сохранившимися отрывками не оставляет сомнения в том, что в первоначальном своем виде закон Цинция, если и содержал положения, запрещавшие судебным ораторам брать деньги за защиту в суде, то главный смысл и основное направление закона были совсем иными. Он не случайно назывался «О подарках и воздаяниях» – без упоминания о судебной и ораторской практике – и запрещал не подарки вообще, а только дары «сверх меры». Взаимное вспомоществование на бытовом и повседневном уровне оставалось незыблемым; важно было принять меры против использования практики дарения для радикального обогащения одариваемого посредством предоставления ему недвижимости, крупных сумм денег и т.д. Санкции закона, кроме того, не касались кровных (когнатных) родственников до пятого колена, супругов, сирот. «Мы можем определенно утверждать, – пишет один из недавних исследователей Цинциева закона, – что он не был направлен против даров, но лишь против даров, вырываемых насильно – в силу социального неравенства дарителя и одариваемого ⟨...⟩. Задача закона состояла в защите свободы воли дающего в тех случаях, когда статус одариваемого, постороннего в кругу родных, в кругу свойственников и близких, или его близость к власти заставляли с основанием полагать, что свобода воли нарушена, и носитель ее принужден поступать так, как он не поступил бы, действуя по искреннему побуждению и исходя из сущности дарения»[1]. О том, кто были эти вымогатели, посторонние в кругу родных и (или) стоявшие близко к власти, недвусмысленно сказал один из первых комментаторов закона Марк Порций Катон Цензорий: «Что вызвало к жизни Лициниев закон о пятистах югерах? Жадность владельцев, которые только и мечтали расширить свои поля. Отчего принят был Цинциев закон о подарках и воздаяниях? Оттого что плебеи уже и так платили сенату налоги и подати» (Ливий. 34. 4. 9). Закон воспрещал конкретные виды и формы дарения, тем самым указывая на те злоупотребления, которые вызвали закон к жизни и, следовательно, составляли распространенную практику, подрывавшую патриархальные микрогрупповые отношения. Так, закон специально запрещал наследникам требовать обещанные им дары после смерти обещавшего, т.е. ограждал семейное имущество от покушения лиц, посторонних семье, сумевших вырвать у человека обещание передать им кое-что после своей смерти в порядке завещания. За дарящим в течение определенного времени сохранялось право удерживать у себя подаренное, если оно фактически оставалось в его владении, как при манципации без передачи или при дарении недвижимости, таким образом принимались меры против отнятия дома или имущества у человека, который был принужден совершить акт дарения.

Перед нами, таким образом, картина распространившихся в обществе после II Пунической войны покушений на принципы и нравы патриархальных микромножеств, прежде всего семейных, на ту атмосферу доверия и солидарности, которая в идеале должна была в них царить и, как явствует, встречалась не только в идеале, а и составляла определенную практику. Закон исходил из возможности эту атмосферу защитить и восстановить, исходил из нее как из достижимой нормы. Показательно, что в числе инициаторов закона был старый Квинт Фабий Максим (см. Цицерон. О старости. 4. 10). Закон, скорее всего, не определял санкций за его нарушение, полагаясь отчасти на решение претора, отчасти на традицию и силу сопротивления семьи.

Полное переосмысление Цинциева закона при империи состояло в частности в том, что вся описанная система отношений и норм вообще выпала из поля зрения общества. По-видимому, перспектива содействовать восстановлению ее с помощью данного закона стала нереальной вплоть до полного забвения некогда существовавших если не расчетов, то надежд. На первый план выходит то содержание закона, которое в первоначальном его виде, если и присутствовало, то в качестве обертона, во многом внеположное его исходному смыслу, но отражающее тот же процесс

[1] *Casavola F.* Lex Cincia. Contributo alla storia delle origini della donazione romana. Napoli, 1960. P. 25–26.

отчуждения общественных связей – теперь уже утвердившегося и, в свою очередь, ставшего нормой. В сенатском эпизоде, описанном Тацитом в главах 5-й – 7-й XI книги «Анналов» и относящемся к 47 году н.э., Цинциев закон определяется как «старинный закон, запрещавший ораторам принимать деньги или подарки за защитительную речь в суде». Требование «вернуть ему силу» сенаторы обосновывали необходимостью обуздать «вероломство судебных защитников»: «Где помышляют лишь о наживе, там нет места ни честности, ни доверию. Если бы тяжбы никому не приносили прибыли, их было бы меньше, сейчас же распри и взаимные обвинения, ненависть и беззакония поощряются в расчете на то, что эта разъедающая наше правосудие моровая язва обогатит судебных защитников». За этой картиной всеобщего отчуждения, достаточно выразительной самой по себе, стоят некоторые явления, о которых необходимо напомнить. При республике – во всяком случае до ее предсмертного кризиса в первой половине I в. до н.э. – судебная защита была делом патрона данной микрогруппы, чаще всего фамилиальной. Право на нее не принадлежало такому патрону автоматически, а предполагало особую процедуру удостоверения его нравственного достоинства, делавшего выступления в роли защитника возможными и авторитетными. Не случайно деятельность судебного оратора упоминалась среди особых заслуг в надгробных речах и панегирических сочинениях. Такое положение обусловливало и пути подготовки оратора. Она осуществлялась в ходе повседневного общения обучающегося юноши с маститым оратором – либо отцом, либо человеком, издавна связанным с данной семьей. Все здесь, таким образом, – и подготовка, и санкция деятельности, и общественный ее смысл – были замкнуты в рамках клана и оценивались по его нормам. Положение, описанное Тацитом, противоположно этому прежде всего потому, что характеризуется полной отчужденностью всех отношений. Судебное красноречие стало профессией, к деятельности судебного оратора готовятся в специальных школах, помощь оратора предоставляется за деньги и потому может быть оказана совершенно постороннему человеку. В том же сенатском заседании ораторы этого нового типа доказывали, что такой характер их деятельности соответствует окружающей общественной действительности, т.е. что Цинциев закон даже и в этом своем смысле стал излишен, ибо отчужденной, регулируемой не патриархальными или традиционными, а лишь деловыми или денежными связями, стала сама жизнь, сама общественная реальность Рима. Противоположность патриархальных, мало отчужденных отношений отношениям, отчужденным более или менее полностью, выступала в этом случае в особенно ясной связи с противоположностью республики и империи: сторонники фактической отмены Цинциева закона мотивировали свою позицию тем, что живут в условиях императорского «римского мира» – «в государстве, где царит спокойствие», а следовательно, не в грозовой атмосфере республики с ее кланами и вечным соперничеством между ними.

2. Тога и сандалии-крепиды

Обнаруженная выше тенденция охватывала все стороны римской жизни. Нашла она себе выражение, в частности, и в семиотике одежды и обуви.

Пример тоги очевиден, общеизвестен, и нам остается лишь напомнить основные положения. Римская одежда, в отличие от греческой, всегда делилась на официальную, удостоверявшую принадлежность человека к гражданскому коллективу, и простую, знакового смысла более или менее лишенную. Тога, по крайней мере со времен Средней республики, относилась к первой из этих категорий. Суть дела в том, однако, что дистанция между обеими категориями была не столь велика, утверждение своей принадлежности к гражданскому коллективу было частью жизненного поведения, и тога была одеждой специальной, но отнюдь не редкой. Когда в 80 г. до н.э. царь Понта Митридат VI Евпатор решил разом покончить с властью римлян в Малой Азии и истребить римлян, находившихся в ее городах, он приказал своим

сторонникам убивать всех, кто одет в тогу. Есть все основания утверждать, что жившие здесь римляне не были сплошь ни магистратами при исполнении обязанностей, ни вообще официальными лицами. То были, как обычно, купцы, мелкие торговцы, италийцы, купившие здесь земельные наделы, или демобилизованные солдаты, еще раньше получившие их в порядке оккупации. Тем не менее они были римлянами и, значит, даже в обычных условиях появлялись в тогах. Положение сохранялось на первых порах принципата, когда государство еще выглядело вполне по-республикански. Известен описанный Светонием случай, когда Август увидел на форуме группу граждан, стоявших без тог, в одних туниках, и сделал им резкий выговор, сказав, что нету для римлянина большей чести, чем выйти на форум в тоге. Смысл этого эпизода не исчерпывается тем, что в нем обычно усматривают – это не просто признак выхода тог из употребления, но свидетельство о чем-то прямо противоположном: ведь если император обратил внимание на людей в туниках, значит все остальные были в тогах. В этих условиях слова Вергилия о римлянах – «одетое тогами племя» – оказываются не просто эпическим образом, но и отражением реальной практики. Государство и гражданство не воспринимались как сфера отчуждения.

Положение меняется на протяжении первого века принципата и уже ко времени расцвета империи при Антонинах отчуждение государства и гражданства проникает не только в идеологию (в виде, например, стоической философии) и не только в область политического поведения (как например, уклонение от магистратур), но и в общественное подсознание. Принадлежность к гражданской общине и ее традициям, верность ее нормам, заключенные в знаковой семантике тоги, вступают в конфликт с требованиями повседневной жизни, с ее ориентациями и ценностями. Статус гражданина становился парадным, во внешности, ему соответствовавшей, появлялись черты декоративности и искусственности. Уже в конце I в. н.э. многие адвокаты стали являться в суд в накидках-лацернах. Это было удобно, модно, так адвокат шел по улицам, направляясь в суд. Но выходя к трибуналу судьи, он социально и психологически, этически перемещался в сферу, где удобство и мода должны были исчезнуть перед парадной архаикой – перед образом патрона, о котором мы подробно говорили выше. Он, как свидетельствует в своей XVI сатире Ювенал, сбрасывал лацерну и оставался в тоге, входя в свою старинную, в повседневной практике давно утраченную роль.

О том же свидетельствует Марциал: «Требуешь ты от меня, – с раздражением думает один из его персонажей, клиент, о своем патроне, – без конца чтобы в тоге потел я» (III. 46), являясь с утренним приветствием в его атрий и принимая в остальном ему совершенно чуждую роль члена патриархальной патрональноклиентельной группы – некогда основной единицы римского общества.

На том же уровне, но в более изощренной форме предстает тот же процесс в меняющейся семиотике сандалий-крепид. Отвлечемся сейчас от сложного вопроса о сосуществовании на родине этой обуви – в Греции – двух ее разновидностей, о соотношении их социальных смыслов, о сохранении их различия в Риме, куда крепиды проникли вместе со многими другими восточными новшествами в конце III и в первой половине II в. до н.э. Сосредоточимся на главном. В республиканскую пору крепиды распространяются в Риме, сохраняя четкий и острый демонстративный знаковый смысл – греческой моды, признака изнеженности и «культуса», вызывающего отклонения от римской традиционной, сплачивавшей гражданский коллектив системы ценностей. Именно крепиды были одним из поводов для доноса в сенат на Сципиона и на его поведение в Сицилии в 205 г. до н.э. По получении доноса здесь «много толковали о том, что и сам Сципион ведет себя не по-римски и тем более не так, как подобает командующему кампанией: появляется в греческом плаще и крепидах в гимнасии, отдает много времени и сил упражнениям на палестре и чтению книжек; да и все его приближенные, ленивые и изнеженные, точно также наслаждаются сполна прелестями сиракузской жизни» (Ливий. 29. 19. 11–12). По доносу как водится, была

создана комиссия, проверявшая подготовку Сципиона к африканской кампании на месте. Выяснилось, что подготовка ведется активно и безупречно, что Сципион полностью контролирует положение и с такой староримской суровостью держит армию в руках, что через несколько месяцев, уже в Африке, смог позволить себе дисциплинарные меры, на которые вряд ли решились бы и самые строгие римские командующие былых времен. Эллинофильство и «культус», таким образом, были демонстративны и неорганичны, а характерные для них поведение и инвентарь – частью семиотического имиджа, сознательным и локальным отклонением от римской гражданской традиции, которая, следовательно, на идеологическом и военно-политическом уровне полностью сохраняла свое значение нормы.

Положение не изменилось вплоть до эпохи Ранней империи. В крепидах ходил во время поездки по греческому Востоку Германик Цезарь, дабы «быть приятным народу» и «подражать Публию Сципиону» (Тацит. Анналы. II. 59. 2). Во время своей двухлетней опалы наследник Августова принципата Тиберий жил на Родосе. «Он забросил обычные упражнения с конем и оружием, отказался от отеческой одежды, надел греческий плащ и сандалии-крепиды и в таком виде прожил почти два года, с каждым днем все более презираемый и ненавидимый» (Светоний. Тиберий. 13. 1). Положение не изменилось, но радикально изменился его смысл. Когда боги обсуждали вопрос об основании Рима и о дальнейшей его судьбе, Юнона добилась от Юпитера обещания, что римлянам никогда не будет дано «речь ли родную менять, в чужеземное ль платье рядиться» (Вергилий. Энеида. XII. 825). Обещание сохранило свое значение в идеализированно-мифологическом образе Рима и в официальных обрядах государственной религии. Демонстративно от них отклоняясь, Сципион и Марк Антоний, Германик и Тиберий лишь эпатировали норму. В реальной же повседневной жизни римляне только и делали, что «рядились в чужеземное платье». В массовом повседневном обиходе крепиды утратили свой острый знаковый смысл и стали одной из разновидностей обычной обуви – осознаваемой как греческая по происхождению, но не влекущей на этом основании никаких семиотических импликаций. Уже Цицерон обращал внимание сенаторов на то, что на статуе, стоящей на форуме, Луций Сципион, победитель Антиоха, представлен в хламиде и крепидах, и это «не вызывает ничьего осуждения ни в мыслях, ни в словах» (В защиту Рабирия Постума. 27). Полусумасшедший Гай Калигула рядился в самые невозможные одежды, но при этом не делал никакой разницы между солдатскими калигами, крепидами и женскими «галльскими» туфельками. Положение это отразилось в словоупотреблении. Крепиды вошли в поговорки, где они означали просто обувь в самом широком смысле, как у Горация (Сатиры. I. 3. 126–128): «Хрисипп, наш наставник, так говорит, что мудрец хоть не шьет ни сапог, ни сандалий (в подлиннике – крепид), но сапожник и он». Так же веком позже у Плиния Старшего: «Да не судит сапожник ни о чем выше сапога (в подлиннике – крепиды)». Семиотический сигнал растворился в шуме бытовой повседневности, нейтрализующей былые семиотические различия как слишком идеологические и наджизненные, отчужденные от непосредственной реальности.

И здесь наступает самое интересное.

Авл Геллий (Аттические ночи. XIII. 22(21). 5), констатировав, что «любая обувь, состоящая из подошвы, которая покрывает лишь ступню, все остальное оставляя открытым и прикрепляясь к ноге ремешками, называется римскими сандалиями, а иногда также и греческим именем – крепиды», рассказывает случай, когда преподаватель риторики сделал выговор ученикам из сенаторских семей, явившимся на занятия в туниках, толстых плащах с рукавами и сандалиях. (Ритор назвал их «галльскими», но по разъяснению Геллия слова «галльские», «римские» и «крепиды» были в эту эпоху уже взаимозаменяемы и могли относиться к любому типу легкой обуви). Выговор был сделан с древнеримской суровостью и основан на том, что провинившиеся были детьми сенаторов. Одежда и обувь их были, – признавал ритор, – совершенно обычными и давно уже общераспространенными, но недопустимыми

именно для них как для отпрысков сенатских родов. Знаковый смысл крепид и других видов обуви или одежды того же чина ко времени Адриана, когда происходил описанный эпизод, давно нейтрализовался. Возвышенная архаическая собственно римская традиция вознеслась в отчужденную сферу государственно-республиканской символики, утратившей связь с жизненной практикой императорской поры. Стоило, однако, римлянину модулировать в жившую рядом сферу официально утверждаемых республиканских реминисценций, как республиканская семантика оживала, отчуждение как будто исчезало, и вещи начинали снова значить то, что они значили когда-то, когда повседневно-бытовая и государственная сферы, жизнь и Res publica Romana не разошлись так, как разошлись они в империи Антонинов. Названный Авлом Геллием ритор не был одинок. Несколькими десятилетиями раньше Персий говорил о человеке, который издевался над «крепидами греков» – но издевался лишь потому, что был «горд италийского званьем эдила» (Сатиры. I. 126–129), т.е. в определенный момент ощутил себя официальным лицом, римлянином «с большой буквы», а значит человеком, чуждым тем обычаям и тем критериям, которые регулировали его жизнь каждый день.

3. Теснота

Говоря о законе Цинция, мы стремились показать, как изменения правовых представлений на протяжении последних веков республики и первого века принципата обнажали социально-психологическую перестройку общественного сознания: от норм неотчужденного существования при республике к реальности более или менее отчужденного бытия при империи. Как бы глубоко ни проникало это противопоставление в массовое сознание, непосредственной его основой оказывался в этом случае определенный правовой акт. Контраст республиканской неотчужденности и имперского отчуждения был как бы культурно-антропологической надстройкой над некоторой идеологической основой. Когда дело касалось семиотики одежды и обуви, люди в известной мере отдавали себе отчет в общественном и культурном смысле изменений, вносимых ими в свой внешний облик, но в виде основного регулятора выступали, разумеется, внеидеологические факторы: вкус, мода, престиж, состязательность и т.д. Мы таким образом подошли существенно ближе, чем в первом случае, к той живой глубине исторического бытия, где условия труда и жизни переплавляются в полуосознанные, насыщенные эмоциями и страстями непосредственные устремления и реакции, которые и являются первыми, исходными импульсами исторического поведения. Сделаем следующий шаг и обратимся теперь к тому культурно-историческому пространству, где вообще нет места идеологии, где все от подсознательного деления действительности на привычное и непривычное, наше и чужое, где привычное и «наше» начинает излучать комфортность, престижность и тем самым становиться ценностью, где противоположность республикански-неотчужденного и имперски-отчужденного уклада существования составляет самый глубинный пласт исторического бытия римлян, в котором сопоставление этих двух укладов образовывало реально переживаемую дихотомию. В этом смысле переживание тесноты и, в качестве ее противоположности, – того, что англичане называют privacy, – оказывается корнем разбираемой ситуации, а восприятие Цинциева закона, семиотика одежды и другие сродные явления – ее разрежением и сублимацией, своеобразной *метафизикой тесноты.*

Вплоть до второй половины I в. н.э., т.е. до полного развития империи в ее ранней, принципатной форме, в Риме, на улицах и в жилых домах, в тавернах и общественных зданиях царила крайняя теснота. Технически она была связана с несколькими обстоятельствами. Во-первых, центральная зона города, где сосредоточивалась общественная жизнь, куда в утренние часы стягивалась большая часть взрослого мужского населения и приезжих, была очень ограничена, не более двух квадратных километров между излучиной Тибра и Виминалом, между Марсовым полем и Целием.

Улицы имели обычно ширину пять-шесть метров и никогда, кажется, не больше девяти. Ювенал так описывал центр Рима флавианской эпохи:

> ⟨...⟩ Мнет нам бока огромной толпою
> Сзади идущий народ: этот локтем толкнет, а тот палкой
> Крепкой, иной по башке тебе даст бревном иль бочонком;
> Ноги у нас все в грязи, наступают большие подошвы
> С разных сторон и вонзается в пальцы военная шпора
> (III. 244–248)

Не лучше обстояло дело в общественных зданиях, если судить, например, по Юлиевой базилике. В этом пятинефном здании размером 60 на 180 метров постоянно заседали четыре уголовных суда; в каждом было по 26 судей, подсудимый приводил с собою десятки людей, оказывавших ему моральную поддержку, а выступления знаменитых ораторов привлекали сотенные аудитории. Тут же непрерывно шла игра (следы очерченных на полу кругов и квадратов, куда забрасывались кости, сохранились до сих пор), кричали менялы, постукивая монетами по своим столикам; все это постоянно хотело есть и пить, и в толпе курсировали продавцы съестного. Вряд ли по-другому обстояло дело у храмов. Стиснутые на узких улицах люди одновременно, вплотную друг к другу, занимались самыми разными делами. В декабре 69 г., когда солдаты императора Вителлия штурмовали Капитолий, где засели флавианцы, младший сын Флавия Веспасиана и будущий император Домициан спасся, замешавшись в толпу поклонников Исиды, которые спокойно отправляли свой культ, нимало не смущаясь сражением, идущим вплотную к ним.

Так же обстояло дело в жилых домах. Об инсулах в том виде, в каком они существовали примерно с конца II в. до н.э. до середины I в. н.э., говорить не приходится – положение описано здесь многими авторами и общеизвестно. Но и особняк-domus был ареной той же тесноты и шумной публичности существования. Связано это было с наличием таберн, большинство из которых сдавалось внаем и не только под склады, но и под лавки или публичные дома, хозяева которых поселялись тут же на антресолях; с наличием в доме второго этажа, помещения в котором иногда соединялись с внутренними комнатами дóма, а иногда имели самостоятельный выход на улицу; с практикой приобретения одним хозяином нескольких соседних домов и соединения их в один жилой муравейник; с балконами, которые соединяли по фасаду несколько домов, так что жильцы могли проходить через комнаты соседей. Можно представить себе, каково жилось в Помпеях в доме № 18 двенадцатого участка VII района, часть которого занимала одна семья, в табернах расположился публичный дом, а в аттике ряд помещений принадлежал каждое отдельной семье, и члены их проходили домой по балкону, имевшему выход через соседний дом № 20. В VIII книге «Дигест» есть целый титул (второй), посвященный разбору казусов, возникавших из того, как переплетались в подобной путанице права отдельных хозяев на помещения, архитектурно и строительно представлявшие собой единый и неразделимый жилой муравейник.

Существенных уточнений требует распространенный взгляд, согласно которому описанная скученность – порождение перенаселенности Рима в раннеимператорскую эпоху. Такого рода перенаселенность, разумеется, существовала и связана она, действительно, с историческими процессами эпохи Ранней империи. Но не менее – а с точки зрения проблем, обсуждаемых в данных заметках, и более – важно также другое. Архитектурные предпосылки «муравейниковой» структуры жилой среды сформировались очень рано, в недрах республиканского строя жизни. Этажность упоминается и в эпоху царей, и при описании событий II Пунической войны; балконы назывались «менианами» по имени цензора 348 г. до н.э.

С верхнего этажа домов своих друзей любил смотреть на городские зрелища император Август. Вся эта скученная, тесная, путаная городская среда существовала в Риме до конца первого века принципата, восходя своими истоками к этрусским поселениям типа Марцаботто. К частичной ликвидации ее приступили, по-видимому,

только Цезарь, скупивший (через посредство Цицерона) и снесший пеструю застройку центрального района, на месте которой расположился вскоре его форум, Август, перестроивший Палатин, Нерон, расчистивший место для Золотого дома.

Такой характер жилой среды имел социально-психологический и нравственный ценностный смысл, воспринимаясь как естественная форма гражданской солидарности, равенства и доверия – словом, как неотчужденная форма существования. Римляне полагали, что на самой заре истории боги научили их

> ...строить дома, сочетая жилище свое воедино
> С крышей другой; чтоб доверье взаимное нам позволяло
> Возле порога соседей заснуть (Ювенал. XV. 153–156).

В той мере, в какой первые принцепсы старались сохранить республиканский уклад жизни города и своей семьи, они жили очень публично, подчас в тесноте и скученности, не только не смущаясь, но как бы даже бравируя этим: такой стиль входил в имидж «первого среди равных». Так жили Август, Клавдий, Вителлий. В опасную минуту они стремились идти в толпу, ища защиты среди сограждан, «своих», как Гальба или тот же Вителлий.

Теснота и как факт городской планировки, и как ценность начинает исчезать во второй половине I в. н.э. – с постепенным утверждением империи не просто как формы государственной организации, а и как строя жизни. Новые правила городской застройки, установленные Нероном после грандиозного пожара 64 г., принципиально изменили все ощущение городской среды. Центральные улицы Рима, а вслед за ним и многих городов империи выровнялись и расширились. Единицей градостроительства стал теперь не застроенный участок – инсула или разросшийся домус, – а отдельное архитектурное сооружение, ограниченное со всех сторон собственными стенами; было запрещено застраивать дворы, этажность была ограничена. Соответственно исчезло большинство предпосылок для «дома-улья», а вскоре и большинство домов этого типа. Разумеется, смена эта не была ни мгновенной, ни линейно-четкой. Обе традиции сосуществовали довольно долго, но контраст нового уклада с описанным выше тем не менее раскрывается в ряде сопоставлений совершенно ясно: инсулы, описанные в III сатире Ювенала, и новые жилые кварталы Остии; «ульи» в районе помпейского форума и особняки-виллы, вроде дома Лорея Тибуртина в районе новостроек в конце улицы Изобилия; форум Цезаря и форум Траяна; Стабиевы бани в Помпеях и термы Каракаллы в Риме; старые комнаты в помпейском доме Менандра в сопоставлении с новыми, отстроенными незадолго до катастрофы, комнатами того же дома и многое, многое другое.

Римская архитектураная революция, как иногда называют описанные изменения, была вполне очевидно порождением империи и означала конец римской гражданской общины, ее республиканской формы, если не в политическом или хозяйственном, то во всяком случае в аксиологическом смысле, в смысле отступления ценностей неотчужденного, скученного, микрогруппового существования перед ценностями независимости каждого от пресса коллективности. Не станем напоминать сейчас о распространении стоической философии с ее императивом: «отвоюй себя для себя самого» (Сенека. Нравственные письма к Луцилию. I. 1), о появлении наряду с огромными триклиниями, приспособленными для десятков, если не сотен пирующих гостей, прохладных нимфеев и малых беседок со столиком и ложами на одного-двух человек. Обратим лучше внимание на тот размах, какой приобретает со времени римской архитектурной революции строительство терм, и на то, какое они создают самоощущение у людей, в них пребывающих. В конце республики в Риме было не более 170 общественных купален, принадлежавших, как правило, отдельным владельцам и по размерам весьма скромных. При Августе один лишь Випсаний Агриппа подарил городу небольшие термы. В них должно было быть изрядно тесно, и никого это, по-видимому, не смущало. Начиная с Нерона, термы, одни других огромнее, строит почти каждый император. Двор терм Каракаллы имел размеры 400 на 400 метров, центральный комплекс – 150

на 200 метров. В термах Диоклетиана этот центральный комплекс был 200 на 300 метров. Всем достаточно памятна та громада, которая возвышается в центре нынешнего Трира (римская Августа Треверов), которую археологи долго принимали то за храм, то за императорский дворец, пока не убедились, что перед ними общественные бани. В этих огромных залах, бесконечных галереях, прохладных нимфеях и библиотеках человек чувствовал себя в принципе по-иному нежели в портиках и базиликах республиканской поры – предоставленным самому себе и одному-двум собеседникам, соотнесенным с окружающими, а не вдавленным в их толщу. Мы живем в упорядоченном государстве, где правит один человек, – говорил с удовлетворением в годы Домициана один из участников Тацитова «Диалога об ораторах», – «и пусть каждый пользуется благами своего века, не порицая чужого» (41.5).

4. Римская классика и принцип империи

Отличительная черта античных империй – не только римской, но и эллинистических – состоит в том, что описанные процессы в них как правило не доходят до конца. Отчуждение как атмосфера жизни как бы сосуществует здесь с сохранением более архаичных и потому более органичных, мало отчужденных форм общественного уклада, восходящих к гражданской общине и, соответственно, к республике как ее политической форме. «Диархия», открытая Моммзеном и нашедшая себе подтверждение в сотнях позднейших исследований, получает здесь свою культурно-антропологическую санкцию и объяснение. Римская архитектурная революция радикально изменила планировку и застройку городов империи, как то наглядно видно на примере Остии II в. или Эфеса IV в., но скученность в жилых помещениях сплошь да рядом оставалась прежней. Это явствует из некоторых приводившихся выше примеров, не говоря уже о сохранившемся распределении солдат в лагере по палаткам – 8 человек на 9 квадратных метрах. Клавдий или Вителлий, действительно, не чурались толпы и сознательно стремились пребывать в ней, равно как всегда, если не в толпе, то в группе появляется Траян на колонне его имени. Но не только Марк Аврелий в середине II в. понял, как важно отчуждение от толпы, уединение; некоторые соблазны того же «отчужденного» стиля существования должны были испытывать и Тиберий, и Домициан, и, особенно, Адриан. Анализ рельефов с колонны Траяна показывает, что авторы их сознательно стремились противопоставить бодрую тесноту, царящую в римских «кадрах», как стихию Рима и его империи, – унылой пустоте начальных и заключительных «кадров», где изображен мир даков до появления римлян и после их ухода. Нарушение клиентельных обязательств отмечается в эпоху принципата в качестве массового явления, но те же источники (тот же Ювенал и вводные главы к «Истории» Тацита) указывают и на их сохранение. Действительно, «тогу в краях италийских не носит никто / Лишь покойника кутают в тогу» (Ювенал. III. 172–173), но и веком позже Тертуллиан в «De pallio» пишет об особой привлекательности тоги для новообращенных граждан империи. На социальные микромножества II–III вв. распространяется та атмосфера отчуждения, которая вообще царит в империи Антонинов и Северов, но есть немало случаев, когда первоначальная атмосфера в них сохранялась и не только в Риме, но и в провинции III и даже IV вв.

Перед нами еще одно подтверждение того особого характера античной культуры, который Гегель назвал классическим, дав определение, с тех пор повторяемое на протяжении почти двух столетий: «субстанция государственной жизни была столь же погружена в индивидов, как и последние искали свою собственную свободу только во всеобщих задачах целого» (Эстетика. II Отдел. Ввведение, § 2). На другом материале Гегель комментирует ту черту античной жизни о которой у нас только что шла речь: неустойчивость, в которой пребывают здесь общественные противоречия, противоречивое сосуществование исторического динамизма и консервативности, человеческой самостоятельности и растворения личности в коллективе, отчуждения ее от общест-

венно-государственного целого и сохранения своих неотчужденных связей с ним, короче – традиций гражданской общины и республики как ее политической формы со структурой, порядками и нравами правовой, административно жестко упорядоченной космополитической и, следовательно, отвлеченной от всего местного и частного империи.

И тут возникают два вопроса, которые, в виде заключения, автору необходимо поставить, хотя – а скорее, именно потому, – что ответов на них у него нет.

Приведенный материал подтверждает представление о классическом характере антично-римской культуры, всего антично-римского строя жизни, или опровергает его? Оценка этого строя жизни и этой культуры как классической предполагает, что полюсы указанного противоречия в конечном счете сближаются и тяготеют к единству. Классика предполагает не только сосуществование противостоящих друг другу полюсов, но и равновесие между ними – разумеется, живое, разумеется, неустойчивое и динамическое, но итоговое, историческое равновесие, определяющее тип культуры в целом. Можем ли мы доказать, что положение было именно таким? Судебный защитник предстает здесь одновременно и как старинный патрон солидарной микрогруппы, и как хапуга, выжимающий деньги из ее членов. Сенаторы демонстративно одеваются так, чтобы *не* походить на римлян былых времен, целиком принадлежащих традиции, и они же в определенных условиях (прежде всего военных) и одеваются, и ведут себя так, чтобы ничем не отличаться от римлян былых времен. Август придает огромный государственный масштаб отстраиваемым им храмам, чтобы не походить ни на кого из старинных primores civitatis, и он же заставляет жену и дочь ткать шерсть в атрии своего дома, чтобы ничем не отличаться от этих primores. Легкая и удобная ссылка на «лицемерие» ничего здесь дать не может: лицемерить имеет смысл, чтобы выглядеть соответствующим тем нормам, какие приняты в окружающем обществе. Приведенные примеры показывают, что сами эти нормы существовали в своей двойственности. Так все-таки, что же такое классический исторический образ Рима и его культуры – выдумка якобинцев и декабристов, гимназический миф XIX столетия, скрепленный авторитетом Гегеля и Моммзена, или отражение исторической реальности? Или правы сегодняшние историки, доказывающие, что перед нами примитивное общество, не знающее других забот, кроме грабежа и обогащения, а все остальное – древняя риторика или новые либеральные выдумки, ничего общего с исторической реальностью не имеющие, – «Алиса в стране чудес», как однажды выразился М. Финли? Или – что было бы самым печальным – приходиться склониться перед столь модным сегодня убеждением, что знаковые коды, в которых живет и выражает себя каждая прошлая эпоха, непроницаемы и проникнуть в их жизнь, в их непосредственное, реальное содержание людям иных эпох не дано?

И второй вопрос. Сочетание в Римской империи явной и упорной тенденции к углубляющемуся отчуждению индивида, его повседневной жизни и интересов, круга его забот от официально-государственной сферы и в то же время незавершенность этой тенденции, сохранение в империи элементов неотчужденного существования, напоминающих о доимперских и в этом смысле общинно-республиканских порядках и нравах, есть специфически римская черта, признак одной древней империи, или такая неполнота имперской унификации и имперского отчуждения, сохранение доимперских, более патриархальных пережитков есть имманентная черта империй как принципа государственной организации, по крайней мере империй европейских, не случайно в столь многих случаях ориентированных на империю Рима как на свой эталон? Опыт по крайней мере Российской и Британской империй мог бы говорить о возможности положительного ответа на последний вопрос.

Г.С. Кнабе

THE METAPHYSICS OF LIVING AT CLOSE QUARTERS. THE ROMAN EMPIRE AND ALIENATION

G.S. Knabe

The passage from the republican community of Rome to the universal Roman empire lasted from the civil wars of the early I century BC to the Antonines. Within this period, however, there is no event and no series of events about which we could say that before them Rome was a republic and after them an empire. It is logical therefore to turn for explanation not to the sphere of historic events, but to a different historic realm – to the continuous and multilevel process of restructuring everyday life habits, mass mentality, archetypes regulating public behaviour, multiple changes in the sphere of axiology and culture. Facts of this kind, despite their diversity, illustrate one and the same tendency: the passage from the republican city-state community of Rome to the universal Roman empire appears as a passage from less alienated historic life structures to the existence of human beings alienated from these structures more or less completely. The author analyses the following phenomena which to his mind confirm the above formulated tendency.

Living at close quarters, crowded and cramped, was accepted under the republic as a value, as a sign of the democratic solidarity of the citizens; after the Roman Architectural Revolution of the late I century AD it became one of the material conditions of life bereft of any exiological importance.

The rôle of the practice of exchanging gifts in early Rome, as in many archaic societies, was double: the gifts made the collective more coherent by creating an atmosphere of mutual aid, and it hierarchized the collective by forcing the recipient to pay the gift and hence depend on the bestower. This practice in its double meaning was the source of many important Roman institutions such as the *clientela*, relations between the army and the *dux*, the legal practice where the *patronus* defended the *reus* on the basis of mutual obligations. In all these spheres the passage from the republican to the imperial style of existence is marked by a radical shift from the above mentioned first aspect of the gift ethics to the second.

In his everyday life the Roman citizen belonged to a small social group or to several of them – *collegium*, a group of *amici*, a circle of individuals depending on one and the same *patronus*, visitors of one tavern etc. These groupings satisfied the desire proper to any member or the community for a collective existence, for solidarity and fellowship. At the peak of the empire they continued existing, but formalized, put under governmental control and with so huge an amount of members that no solidarity or personal contacts could determine the atmosphere in such groupings any more.

The author shows that the attitude to official *honores*, the image of the *principes civitatis*, even the Roman dress followed the same evolution from less alienated forms of life to forms which were or were accepted as alienated more or less fully. The analysis of all these instances, however, shows that the tendency to alienation never triumphed completely, never became really and truly universal. The life in the Roman empire is characterized by two conflicting tendencies: alienation grows constantly; traditional, less alienated patterns of social life born under the Repuplic melt away, but subsist too.

Is this *coexistence* a proof and a manifestation of a specific classical type of the civilization of antiquity as described by Hegel in the second volume of his *Aesthetics*? Or is it a general feature proper to European empires most of which were modelled to a greater of lesser extent on the Empire of Rome? This problem needs to be formulated, but better left unsolved.